

*Память юродства в поэзии Вениамина Блаженного // По ступеням света. К 90-летию Вениамина Блаженного: Сб. статей. – Мн.: Право и экономика, 2012. – С. 36 - 48.*

Н.И.Ильинская  
доктор филологических наук, профессор  
(Украина)

### Память юродства в поэзии Вениамина Блаженного

Юродство – парадоксальная форма святости, многогранный культурный феномен, «трагический вариант смехового мира» (А. Панченко) – занимает особое место в русской литературно-духовной традиции, маркируя национальную ментальность и православную религиозность. Рецепция юродства как явления культуры, восходящего к канонической модели, но не сводимого к ней, представлена разнопланово: образами-персонажами, начиная от агиографических героев-юродивых древнерусской литературы, пушкинского Николки в литературе Нового времени и заканчивая постмодернистским Веничкой Вен. Ерофеева; поэтическими парафразами житийных историй о юродивых; типом бытового и творческого поведения; стратегией и принципом творчества.

В переходные эпохи (по мнению многих авторитетных ученых таковым является весь XX век) особенно обостряется интерес к этому крайнему, экстремальному виду религиозного подвижничества и культурному феномену. Наиболее показательны в этом смысле поведение и творчество М. Волошина, Н. Клюева, А. Белого, В. Розанова, В. Хлебникова, А. Ремизова, код и тема юродства актуализированы в поэзии И. Бунина, обэриутов, в частности Д. Хармса, прозе А. Платонова, В.Ерофеева, С. Василенко, в поэзии конца XX века. В дореволюционной и современной науке представлены различные точки зрения на это религиозно-культурное явление (И.Ковалевский, Г.Федотов, Ю.Манн, Ю.Лотман, Б.Успенский, С.Иванов, С.Исупов, И.Есаулов).

Концепт юродства рассматривается многогранно: как путь, тип святости в восточно-христианской духовности; сложный, многоликий феномен, балансирующий на грани между православной церковной и смеховой (низовой) культурой; как форма философской свободы и даже форма судьбы; поведенческий нигилизм и апофатическое взыскание высшей истины; укорененная со времен Аввакума традиция творческого поведения и эстетический принцип писательства [Исупов 2000, 76-77]. Показательно, что современные исследователи не ограничивают функционирование юродства форматом православной религиозности, усматривая его модификации в клоунадах футуристов, жизнестроительстве символистов, мистическом «почвенничестве», кодифицируя его как своего рода метатекстовое явление и тем самым как бы обозначая эстетические параметры «светского юродства».

Подобный ракурс исследования проблемы задан критической мыслью Серебряного века, в частности В.Ходасевичем, утверждающим духовное родство художника слова и юрода в осознании «божественной природы своего уродства – юродства» [Ходасевич 2002, 389]. Тот парадоксальный факт, что его рассуждения о едином сакральном источнике юродства и творчества предпосланы разбору произведений В. Набокова, безразличного (по его словам) к религии и менее всего юродивого по стилю жизни и творческому поведению, говорит об определенной эстетизации этого концепта, поскольку основанием для сравнения поэта и «похаба» выступает их аномальность, несходство с окружающими, которым наделены, по словам А. Ремизова, «странные люди» – странными они рождаются на свет, «странники» [Ремизов 1990, 389]. Таким образом, одной из констант «юродства», сверхличностным началом, оправдывающим девиантную модель поведения «не от мира сего» для модернистов является Искусство; второй – близость к концепту духовного странничества («странники») как в характерном для средневекового юродства стремлении к поиску истины, скитанию «меж двор», отмеченном в известной работе Д. Лихачевым и А. Панченко [Панченко 1984, 4-5, 72], так и в модификациях «ухода ментального» (Ю. Степанов). Забегая вперед, подчеркнем, что именно модель «эстетизированного юродства»

(«Юродство ... есть своего рода форма, своего рода эстетизм, но как бы с обратным знаком» [Бахтин 1972, 397], типологически близкая стилевым течениям Серебряного века, окажется востребованной в новейшей русской поэзии поколением 90-х.

В нашей статье «память юродства» мы рассматриваем в религиозно-поэтическом сознании В. Блаженного. Критерием отбора материала для исследования служат факты внехудожественной реальности, само(определение) автора или наименование его лирического субъекта «юродивым» с соответствующими поведенческими формами, реализованными в тексте. Исследование «памяти юродства» в творчестве В. Блаженного позволяет проследить культурную рецепцию юродства в поэзии рубежей XX века, выявить инвариантное ядро, доминантные черты и художественные формы его воплощения в разных стилевых системах.

В поэзии В. Блаженного (псевдоним Вениамина Михайловича Айзенштадта (1921-1999)) «память юродства» реконструируется в координатах, близких национальной ментальности и народной религиозности. Моделируют «память юродства» «биографический миф», структура религиозно-поэтического сознания, «авторская маска» похаба, которая рассматривается как способ авторского проявления в тексте, набор самохарактеристик, сознательная стратегия творческого поведения.

Псевдоним автора становится исходной посылкой, которая задает параметры восприятия его «жития», тем более что такой ход подсказан автохарактеристикой: «Я – Блаженный, а это какая-то живая ступень, живая перекладина, проходящая сквозь век духовного мрака». В его «биографическом мифе» переплетаются такие факты внехудожественной реальности, как доставшиеся «по наследству» убожество и маргинальность, прочитанные поэтом как «нищета духа», избранничество и личный выбор; житейская неустроенность (инвалидность, пресловутый «пятый пункт»), состояние «долгого, «теневого», внелитературного творческого развития» [Аверьянов 1994, 40].

Самоопределение поэта в парадигме юродства происходит как косвенно, так и прямо. Примечательно, что сборник «Возвращение к душе» (1990) начинается стихотворением «Мать, потеснись в гробу немного...». Поэт-визионер моделирует ситуацию, в которой измученная душа сына приходит к умершей матери в образе бездомного щенка. Как отмечает А. Панченко, «в культуре православной Руси собака символизирует юродство». Показательны и другие примеры, когда собака выступает зооморфным двойником лирического субъекта и даже самого Господа Бога («Приснился мне Господь, бредущий за горами, / Он брел в обличье пса ...И брел я рядом с ним с суровой любовью / Собаки-старика» («Давно-давным-давно...)). Визионерство автора реализуется посредством поэтики, присущей религиозно-дидактическим жанрам: это сон, видения, молитва («моление»), диалог, воссоздающий ситуацию общения с трансцендентным миром.

Показательный ряд самоназваний лирического субъекта В. Блаженного в словесной парадигме юродства: «побирушка, изгой, оборванец, скиталец, бродяга, пилигрим, блаженный, убогий, изгой, калека, нищеврод, дурак», приведенный Т. Бек [Бек 1998], можно дополнить и другими самохарактеристиками. Они отражают творческую сторону личности, аккумулировавшую черты странствующего поэта-юрода: «сумасшедший, прохожий чудак», «звездный странник», «поэт, свихнувшийся в Духе», «бог и даже больше Бога», «шут у Господа, у Бога». И если подвижничество юродивого, как правило, рассматривают на фоне таких концептов, как грех, благодать, святость [Иванов 2005, 24], то, не отрицая важности этих категорий для религиозно-поэтического сознания В. Блаженного подчеркнем: в феномене его «мирского юродства» (П. Бицилли), как и в русском модернизме, духовно-эстетической доминантой выступает творчество: «Я не только твой шут, я избранник твой, Господи, тоже... / Я не только твой шут, я твоя боевая труба». Творчество В. Блаженного, его «святая повесть» находится на границах культурно-освоенного мира, оно вырастает из реального и ментального ухода из социума, от его условностей и ценностей.

В религиозно-поэтическом сознании В. Блаженного, иерархическом и христоцентричном, значительное место принадлежит укорененной в русской ментальности категории «душа». Образ души, отражая путь, телеологию и ценностные ориентации поэта, представлен в различных ипостасях: мистико-религиозной («душа, любившая Тебя», «душа плясала в красной язве»); шутовской («Я был шутком, пустившим душу в пляс»); богоборческой, отверженной, страждущей («трепетное мерцание души», «душа-тоска», «небесный сан поправшая душа»); юродской («Брела моя сермяжная душа / Блаженного седого дурака», «нищая душа»). Не менее показательное художественное воплощение образа души: антропоморфное («звериный вопль души, / Грохочущей, как нищенка, в ворота»), зооморфное, в близких к барочным метафорах странствия-богоискательства или диалогах, известных как «пря между телом и душею». Однако во всех модификациях неизменным

остается предстояние души перед Вседержителем и совестью как «воспоминанием о Боге» (Н. Бердяев). Об этом говорит и название одного из первых поэтических сборников В. Айзенштадта – «Возвращение к душе».

Образ души у В. Блаженного коррелирует с укорененными в русской ментальности «судьбой» и «волей» (доминирующие концепты языковой картины мира русского человека, по Вежбицкой), которые также несут в себе «память юродства»: *«Я всего лишь душа, а душа это только свобода, / Та свобода, которая бродит с дорожной клюкой и сумой / И грозит небесам императорским жезлом юрода – / Почему оно, небо, как пес, увязалось за мной?»* («Разыщите меня, как иголку, пропавшую в сене»).

Как видим, в юродстве лирического субъекта В. Блаженного ярко выражено мироощущение, презирающее «пределы», пассионарно попирающее любую ограниченность, закрепленность, частность. Его потребность странничества в поисках Абсолюта и души проявляется как одна из сторон русского сознания, которое не любит устройства града земного и на тех или иных путях ищет Града Небесного, Нового Иерусалима. «Вечный концепт духовного странничества» в поэзии В. Блаженного образно представлен в парадигматике пути (дорога, пыльный путь, торная земля, большак, стезя, господний луг, даль далекая, лихая дорожка, простор), мотивах «блаженной» нищеты духа, бродяжничества и нищенства, свободы-воли, реального и ментального «ухода из культуры», в эсхатологических пророчествах «мнимого безумца». При этом неизменным остается «дух новейшего взыскующего богопознания» (Г. Померанц), в котором «чем упорнее отрицание, тем пламеннее вера». Это путь восхождения к Богу.

Утверждение исследователей, что «выход юродивого за рамки мира и антимира, мира «вообще», подразумевает утверждение им нового, сакрального миропространства, в которое он себя и помещает и которое он строит по праву наличия своей индивидуальной связи с высшим миром» [Юрков 2003, 53], вполне приемлемо и для картины мира В. Блаженного. Картина мира В. Блаженного христоцентрична, и в этом особенно ярко

реализуется «память юродства» как уподобление «крестному пути Иисуса Христа», когда «подвижник сравнивается со Спасителем» [Панченко 1984, 88]. Вершину личной иерархии поэта занимают «блаженные», «возлюбившие Христа» (*стих. «Воробышек – посол Христа отважный...»*). Уподобление юрода Сыну Человеческому происходит прямо и имплицитно, с помощью аллюзивно-реминисцентного пласта, посредством сближения образа матери с богородничным. Так, например, в стихотворении «Вечный мальчик» (Второе) сакральное и профанное переплетено и инверсировано: мать как бы окружена божественным нимбом, но это ее пылающие волосы; мальчик – демифологизированный двойник Чудного младенца сидит на коленях Бога, а не Приснодевы. Но это то видение, та «эпифания», которые подводят, как в средневековом сознании, к небесному прототипу. Стремясь к преобразению по Его образу и подобию, лирический субъект сопрягает в единой формуле Абсолютную святость и юродство: «Я отмылся до сути Христовой, / до юродивых светлых морщин»; молится не о «сладчайшем Иисусе», а о «сладчайшем Иисусовом гвозде», о со-распятии с Господом.

Поэзии модернизма известны модели отождествления поэта и Христа / Бога на основе творческой ипостаси. В религиозно-поэтическом сознании В. Блаженного наблюдаем новый поворот в художественном решении этой темы. Показательно стихотворение «Не знаю, каким было первое слово...» из цикла «Скитальцы духа». Евангельская реминисценция: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога» [Иоан. 1:2], составляющая основу поэтического сюжета, разворачивается в неожиданном ракурсе. В подтексте стихотворения зашифрованы инвариантные для юродства В. Блаженного мотивы нищеты, странничества, «перевернутого поведения», поскольку юродствование включает «еще и дополнительный смысл – вести себя каким-либо нестандартным образом» [Иванов 2005, 240]. Оригинальное толкование получает мотив странничества. Слово, вдруг ставшее бесприютным, никому не нужным на земле, находит таких же скитальцев Духа – юродивых, которые способны его принять и

оценить как щедрый Дар, как знак своей богоизбранности: «Разыщите меня потому, что я вещее слово, / Потому, что я вечности рвущаяся строка, / И еще потому, что стезя меня мучит Христова...».

Если в поэзии русского модернизма «память юродства» проявляется в сравнении поэта с юродивым по «одержимости» и «отмеченности перстом Божиим» (В. Ходасевич), то, продолжая традицию (обратим внимание на интертекстуальную переключку: «Он будет бос и наг, и разумом убог, / Но это на него сойдет святое слово, / И горестным перстом его пометит Бог...»), В. Блаженный находит ее новый ракурс. Автор утверждает подобие Творца и творения в юродстве: «Вот и будет вдвоем веселее поэту и Богу.../ Что за чудо – поэт, что за чудо – замызганный Бог ... / На кладбище в ночи обнимаются двое убогих, / Не поймешь по приметам, а кто же тут больше убог» («Блаженный» (Второе)). Образ Бога лишен привычной атрибутивности, в Его руках сума – знак типичной для юродивого скитальческой жизни. «Умалившийся» не только до «зрака раба», но до «обличья пса» образ Абсолюта воспринимается эпатажным и кошунственным, если не учитывать евангельского контекста. Известные слова ап. Павла о безумстве Христа ради – своеобразный манифест юродства в православии, необычное для иудейской среды поведение Иисуса – эти христианские основания духовного подвига юродства образно переосмыслены в поэзии В. Блаженного.

Образы Бога и Сына Человеческого автор «Возвращения к душе» наделяет такой устойчивой чертой канонического юродства, как одиночество. Однако в отличие от мотива экзистенциального – «надмирного» одиночества Создателя, характерного, например, для поэзии И. Бродского или З. Миркиной, В. Блаженным актуализирован фольклорный мотив гонимого, неузнанного Бога, «калики перехожего» (традиция новокрестьянских поэтов), такого же изгоя, как и сам поэт-юрод. В корпусе стихов В. Блаженного щедро рассыпаны свидетельства их сердечной близости: «Ах, Господь, ах дружок, ты, как я, неприкаянный нищий. / Даже обликом схож и давно уж по-нищему



мертв»; «Я беседовал долго со странствующим иудеем, / А потом оказалось – беседовал с Богом самим». Сразу же оговоримся – это не единственная тональность в затянувшимся на всю жизнь «рифмованном разговоре с Богом» автора. Его лирическому субъекту присущи неистовость богоборчества, гневные инвективы в адрес Создателя, что наиболее ярко выражено авторской маской ветхозаветного пророка, в частности многострадального Иова («Это ты, а не я, мой Создатель, дурак / С атрибутами бури и грома...»). Как представляется, эпатажное «богоравенство» спровоцировано слишком прямолинейно заявленным родством: «Я пребываю в сумасшедшем доме, / Негласный сын Христа». В результате метафизическая близость, усиленная общей «сирой судьбой», позволяет похабу «ругаться» не только миру, но и его Творцу. А поскольку в поэтическом мире М. Айзенштадта Вседержитель – блаженный, то, по стереотипной формуле юродства, должен принимать от «безумных человек» «много досаду, и укорение, и биение, и пхание» [Панченко 1984, 87]. Именно в этом нам видится «разгадка богоборческих кощунств разного рода»: болезненно реагируя на греховность и безблагодатность жизни, лирический субъект В. Блаженного обращает укоризну «даже не столько к миру, сколько к его Создателю, который почему-то терпит несовершенство собственной твари» [Иванов 1994, 189]. И это один из парадоксов юродства.

В отличие от средневекового юродивого, как правило, не помнящего или отрекающегося от своих корней, тема родства является сквозной в «биографическом мифе» В. Блаженного. Его лирический субъект во многом идентичен автору или выступает его двойником. Презрение к «медякам» торгашеского мира, непричастность к его ценностям вплоть до ухода – эти духовные координаты отца и матери, тождественные аксиологии юродства, заявлены лирическим субъектом своего рода избранничеством. Так, антифразис в зачине стихотворения «Родословная»: «Отец мой – Михл Айзенштадт – был всех глупей в местечке. / Он утверждал, что есть душа у волка и овечки» – в финале разрешается «посрамлением» «мудрости мира

сего». Используя семантически продуктивную рифму, автор выстраивает ценностный ряд: «убогий – избранный у Бога – совесть – святая повесть». В нем названы ключевые понятия религиозно-поэтического сознания поэта, своего рода инварианты его тем и образов, несущих в себе «память юродства». Такая иерархия ценностей позволяет утверждать вхождение лирики В. Блаженного в русскую духовно-поэтическую традицию, ее преемственность по целому ряду констант, среди которых – выбор нищеты и безумия как средство спасения души (срв. поэтические парафразы жития юродивых И. Бунина «Святой Прокопий», А. Ремизова «Прокопий Праведный»).

Тема родства структурирует модель мира В. Блаженного, в которой родство по крови и духу расширяется до «всеродства» Создателя, Его Сына, домочадцев робкого и осмеянного «Михеля дер нар»'а, многочисленной Божьей твари. Автор снимает оппозиции дом – дорога, земное – небесное как «свое» – «чужое», поскольку и горнее, и дольнее пространство структурировано духовной вертикалью, а земной мир как храм, как икона Всевышнего отражается в небесах и наоборот. Отсюда миссия поэта аналогична духовному подвигу и эсхатологизму юродивого: нести слово Божие – сеять «в землю небо», напоминать о последних временах (*стих. «Я так и не пойму...», «На каком языке мне беседовать с Богом?», «Стихи ухода»*). Все это позволяет говорить об универсальности, вселенскости поэзии В. Блаженного, характерной для русского религиозно-философского и поэтического сознания.

Однако автор этим не ограничивается и вносит новые обертоны в классический репертуар темы, провокативно утверждая, что «сотворен был мир юродом, а не Богом, / Хотелось дурачку игрой себя занять» («Ах, если бы я знал...»). Поэтому природа как лучшая часть творения (заметим, у поэта напрочь отсутствует урбанистическая тема, а социум представлен в исключительно негативных коннотациях и образах, например, «дурдома») напоминает о «потерянном рае» и под стать своему создателю наделена

чертами юродства (*стих. «Это были и жены и девы в лохмотьях», «Когда простор окидываешь взором...»*). Так, в стихотворении «Это были и жены и девы в лохмотьях», используя прием метаморфозы, поэт воссоздает Золотой век «потерянного рая», маркированный такими знаками юродства, как нагота, «лоскутность одежды», мотивом скитальческой жизни, гармонии святого-юрода с природой.

Таким образом, в религиозно-поэтическом сознании рубежей XX века «память юродства» представлена в различных трансформациях и художественных воплощениях. Инвариантным ядром, как и в каноническом юродстве, остается святость: уподобление лирического субъекта Христу, путь духовного спасения и постижения истины; новой чертой является особая поведенческая модель «не от мира сего» поэта-юрода. Особенность юродства в поэзии В. Блаженного заключается прежде всего в создании картины мира в соответствии с юродской парадигмой, хотя и в модифицированном виде: это реконструкция традиционного пути странника-юрода как восхождение к Богу; утверждение подобия Творца и творения в юродстве; акцентуация богоизбранности в творческой ипостаси блаженного; наделение окружающего мира чертами юродства, актуализация топоса гармонии святого с природой как «потерянного рая».

## ЛИТЕРАТУРА

1. Аверьянов В. Житие Вениамина Блаженного // Вопросы литературы. – 1994. – Вып. VI
2. Анкудинов К. Опыты // Новый мир. – 2003. – №3
3. Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. – М., 1972
4. Бек 1998 – Бек Т. Скиталец духа. – [http://www.krotov.info/libr\\_min/p/poezia/blachenn1.html](http://www.krotov.info/libr_min/p/poezia/blachenn1.html)
5. Блаженный В. Возвращение к душе. – М., 1990

6. Блаженный Вениамин. Стихотворения. 1943 – 1997 – М.: РИК Русанова, 1998
7. Блаженный Вениамин. Моими очами: Стихи последних лет. – М.: АРГО-РИСК; Тверь: Колонна, 2005
8. Есаулов И. А. Пасхальность русской словесности. – М.: Кругъ, 2004. – 560с.
9. Иванов С.А. Византийское юродство. – М., 1994
10. Иванов С.А. Блаженные похабы: Культурная история юродства – М.: Языки славянских культур, 2005
11. Исупов К. Русская философская танатология // Вопросы философии. – 1994. – №3
12. Исупов К.Г. Философия и литература «серебряного века» (сближения и перекрестки) // Русская литература рубежа веков (1890-е – начало 1920-х годов). Книга 1. ИМЛИ РАН. – М.: Наследие, 2000
13. Книга о Владимире Соловьеве. – М.: Советский писатель, 1991
14. Ковалевский И. Юродство о Христе и Христа ради юродивые восточной и русской церкви. – М., 1902; репринт 1991
15. Лотман 2004 – Лотман Ю. Дурак и сумасшедший // Культура и взрыв. – СПб: Искусство–СПБ, 2004
16. Манн Ю. Карнавал и его окрестности // Вопросы литературы. – 1995. – №10
17. Панченко 1984 – Панченко А. М. Смех как зрелище // Лихачев Д. С., Панченко А. М., Поньрко Н. В. Смех в Древней Руси. – Л.: Наука, 1984
18. Ремизов 1990 – Ремизов А. М. В розовом блеске: Автобиографическое повествование. Роман. – М.: Современник, 1990
19. Тресиддер Дж. Словарь символов / Пер. с англ. С. Палько. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999

20. Успенский Б.А. Антиповедение в культуре Древней Руси // Успенский Б.А. Избранные труды. Т.1. Семиотика истории. Семиотика культуры. – М., 1994
21. Федотов Г. П. Юродивые // Федотов Г. П. Святые Древней Руси; – М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. – С. 179-191
22. Ходасевич В. Ф. Перед зеркалом. – М.: ОЛМА ПРЕСС, 2002
23. Юрков 2003 – Юрков С.Е. Православное юродство как антиповедение // Под знаком гротеска: антиповедение в русской культуре (XI – начало XX века) – СПб: Изд-во Летний сад, 2003